

А.С. Табачков

Проблемы интерпретации исторического прошлого

События последних десятилетий убедительно продемонстрировали, что история и ее дискурсивная репрезентация остаются важнейшими факторами динамики развития общества. Различные и подчас диаметрально противоположные интерпретации событий, особенно трагических событий XX века, таких, например, как Октябрьская революция в России¹, по-прежнему являются базисными элементами в процессах генезиса различных идеологий; отношение к соответствующим историографическим дискурсам остается в числе важнейших факторов формирования мировоззрения людей.

Одновременно с этим со все возрастающей остротой проявляется несоответствие, с одной стороны, иной культурной ситуации, сложившейся под влиянием таких факторов, как развитие образования, появление качественно новых средств массовой информации, а также целого ряда других изменений, приведших, в том числе, к резкому увеличению количества конкурирующих интерпретаций прошлого, и, с другой стороны, традиционной парадигмы социально-гуманитарного знания. Изучение процессов интерпретации прошлого, в том числе и на метатеоретическом уровне, является, поэтому, весьма актуальной задачей социально-гуманитарного знания.

В культурной парадигме Запада производство знания и обеспечивающий это производство комплекс общественных институтов являются, по сути, основой цивилизационного устройства. Такое положение вещей не могло не отразиться на формировании системы ценностей и специфических традиций, главной особенностью которых был и остается приоритет достоверной обоснованности любого значимого действия, что, в свою очередь, предполагает дискурсивную по характеру и поддающуюся верификации истину в качестве императива индивидуального и группового поведения. При этом право на верификацию, по крайней мере, в виде упрощенной проверки на логическую непротиворечивость и интуитивно определяемую этическую, а также эстетическую приемлемость, остается за обществом, что играет критически важную роль в судьбе любого нового для него явления, будь то политическое решение, манифест группы художников или научная гипотеза. В сочетании с открытым способом формирования элит эта критичность общественного сознания и обеспечила, по-видимому, глобальное превосходство западной модели развития.

Социально-гуманитарные дисциплины в силу целого ряда причин особенно подвержены критическому давлению социума и власти. При этом, помимо непосредственного влияния власти, которая выступает в данном случае в роли главного потребителя конечного, практически применимого, дискурсивного продукта, свою и весьма значительную роль в определении условий функционирования этой области производства знания играет господствующая на данный момент в обществе социокультурная доминанта. Именно она, а не власть

¹ Стоит заметить, что это тот достаточно редкий случай, когда идеологическая (и не только) принадлежность дискурса может быть опознана по одному, пусть даже единичному, факту словоупотребления: «переворот» или «революция» почти всегда предупреждают, с какой именно трактовкой предстоит столкнуться в том или ином случае.

в традиционном понимании этого феномена, наиболее сильно влияет на соотношение критического и комплиментарного в широком, общедоступном дискурсе. Через посредство актуальной доминанты общество постоянно определяет, в каком знании о себе оно нуждается и какое считает нежелательным или даже небезопасным для своей стабильности.

Особый интерес представляет как раз это последнее, нежелательное знание. Дело в том, что, хотя и с достаточной степенью условности, весь вырабатываемый социальными дисциплинами комплекс знания можно, как и почти все сущее, разделить на три временные модальности. Знание о настоящем, в том виде, в каком его репрезентирует, к примеру, социологическое исследование, при кажущейся актуальности неспособно вызвать какую-либо значительную реакцию социума или власти. Объекты такого знания не обладают достаточной фундаментальностью, настоящее всегда воспринимается как достаточно случайное, и, что особенно важно, текущее положение дел всегда видится поправимым и оттого временным.

Еще меньше шансов нарушить спокойствие широкой элиты современного общества имеет футурология, и лишь знание о прошлом, благодаря своему онтологическому статусу, справедливо расценивается консервативно ориентированными силами как потенциально опасное.

Онтологическая составляющая интерпретаций прошлого привносит в них некую априорную легитимность, обоснованно оспорить которую массовое общественное сознание не может. Кроме того, интерпретации прошлого часто строятся на сравнении, задействуя тем самым такое мощное выразительное средство, как контраст, которое Ройс называл «the mother of clearness» («матерью ясности») [1].

В целом общая ситуация, определяющая характер процессов интерпретации исторического прошлого, зависит от двух главных параметров: «давления» власти и культурного уровня активной части общества.

Интерпретация прошлого, будучи одновременно частью как непосредственного процесса производства знания, так и внутренней, основанной на критической адаптации методологии этого комплекса дисциплин динамики, дополнительно подвергается воздействию целого ряда факторов.

Так, несомненным представляется то, что свобода интерпретации прошлого всегда ограничена совокупностью этических (по способу их восприятия) запретов, порожденных тем или иным историческим казусом. В отличие от прямого давления власти, эти запреты, опирающиеся на массовое общественное мнение, являются тоталитарными по своей сути и весьма эффективными. При этом нужно понимать, что общественное мнение как таковое не является некой естественной данностью, в современном так называемом информационном социуме это во многом результат долговременных, более или менее продуманных усилий власти.

Интерпретация исторического события, в той или иной степени нарушающая эти нигде нормативно не зафиксированные запреты, вызывает реакцию, сравнимую с иммунным ответом организма. Впрочем, такие события сравнительно редки, множество барьеров и «фильтров», существующих на разных уровнях системы производства знания (а также в системе распространения информации), достаточно эффективны.

Как правило, эти комплексы неявных запретов обязаны своим происхождением крупномасштабным трагическим событиям прошлого, при этом элемент трагического используется для обоснования безнравственности нарушения этих запретов. Учитывая, что в культурном пространстве любое значимое событие существует в форме интерпретации, эти комплексы запретов следует, по-видимому, рассматривать как их же, интерпретаций, составляющую, как интегрированные в них защитные механизмы. Препятствуя попыткам реин-

терпретации, они тем самым изолируют защищаемое ими событие, способствуют изъятию его из динамики общей эволюции. С течением времени очевидный культурный анахронизм защищенной таким образом интерпретации, нарастающее несоответствие инкорпорированных ею этических норм, ее эстетика – она ведь часть «зримой авансцены истории» [2] – все это провоцирует новые и новые критические атаки. Поскольку нет никаких свидетельств превращения подобных запретов в устойчивую культурную норму, исход подобного противостояния вполне предсказуем.

В чем же глубинный смысл этой характерной для Запада нетерпимости к табуированному прошлому? Может ли подобное отношение иметь философское толкование? Приблизиться к пониманию в данном случае можно через анализ ситуации исследователя, и в этом случае мы вправе говорить об онтологическом характере данной проблемы. Взятый как архетип культуры исследователь равновелик собственной экзистенции; для него бытие познающим субъектом конститутивно, и поэтому любое внешнее ограничение, налагаемое на процесс познания, приобретает характер угрозы осуществлению. Таким образом, преодоление ограничений является для агента познания борьбой за пространство собственного развития.

Исторические, социологические и, особенно, политологические исследования, как уже отмечалось, небезразличны для власти. Наряду с опасениями появления опасного для нее знания, власть ожидает пополнения и модернизации своего инструментария. Однако ей требуется продукт с определенными свойствами, способный эффективно работать в символических механизмах современного общества. Эта потребность власти в постоянном обновлении знания контроля создает конъюнктуру, поэтому нет больше необходимости в тотальном контроле и подчинении. Политические институты не стремятся теперь к инкорпорации социальных дисциплин, определенная независимость последних признана одним из условий их эффективности.

Социополитическая сфера общества нуждается в знании о прошлом, но в знании специфическом, специально адаптированном. Интерпретации событий прошлого должны быть взаимосогласованными, образовывать в своей совокупности сложную систему актуального предания общества. На практике, к счастью, создание такого нарратива-монолита невозможно, но стремление приблизиться к этому состоянию характерно для любой власти. Сопrotивление этому стремлению было и остается важнейшим элементом культуры Запада, причем суть сопротивления заключается не в прямом отрицании, всегда ограничивающем, а в создании альтернативных интерпретаций и дискурсов. Эффективное сопротивление унифицирующим интенциям власти может быть только креативным по характеру, оно, перефразируя М. Бакунина, акт творческий.

Продуктивная деятельность относительно самостоятельных индивидуумов и групп расширяет и обогащает контекст интерпретации прошлого. Подобная деятельность закладывает основу качественно иной динамики и способствует постепенному изменению критериев оценки знания. Побочным эффектом данных процессов является сужение культурного пространства идеологии. Частично лишившись опоры на целесообразно интерпретированное прошлое, а значит и таких мощных концептов, как национально-культурная исключительность, особая миссия этноса или государства и т.п., идеология вынуждена все более опираться на универсальные ценности².

У власти, однако, есть возможность регулировать процессы толкования прошлого путем ограничения доступа к источникам информации. Закрыв архивы и

² Неизвестно, однако, до какой степени это может ограничить произвол власти. Тезис Ж.-Ф. Лиотара о фрагментации метанарратива как эмансипации (в его «The Postmodern Condition») представляется поэтому слишком оптимистическим.

библиотеки, можно предотвратить появление нежелательных интерпретаций или снизить их доказательную силу, ведь исследователь, в отличие от художника или идеолога, нуждается в признанных достоверными источниках. Нужно заметить, что какими бы ни были оправдания и мотивы, подобная практика является, по сути, экспроприацией. Она посягает на главный капитал общества, его историю, лишая, тем самым, его возможности критически корректировать свою эволюцию. Произвольное вмешательство власти часто ведет к непрогнозируемым и нежелательным последствиям; некоторые тенденции, к примеру, современного развития России, убедительно демонстрируют опасные последствия подобных интервенций власти в процессы осмысления исторического прошлого.

Результат подобных интервенций власти может быть представлен в терминах различных теорий, скажем, в не лишенной некоторого дарвинизма философии Дж.Г. Мида это прямая угроза выживанию социума, в романтической онтологии М. Хайдеггера эти ограничения препятствуют «возвращению к возможностям сбывшегося присутствия» [3]. Однако и без интерпретационного анализа понятно, что речь идет о совершаемом частью элиты преступлении, причем в современных условиях, когда правовые, да и сущностные, различия материального и нематериального сгладились, это преступление имеет отчетливый характер посягательства на имущество.

Влияют на процессы интерпретации прошлого и некоторые, так сказать, технические особенности современного социума, прежде всего, его системы распространения информации. Известная «компьютерная» аналогия М. Фуко, при всей уязвимости, присущей таким приемам толкования, бесспорна, на наш взгляд, в той своей части, где отождествляется скорость обмена информацией и сила социальной структуры. В сфере того знания, производство и распространение которого прямо или косвенно связано с заказом власти, влияние этих особенностей современного социума проявляется достаточно непосредственно, но, к счастью, эта сфера в нормальных, не тоталитарных, условиях сравнительно невелика и во многом вторична.

Таким образом, прогресс в области познания исторического прошлого тесно связан с общей направленностью эволюции социума. Продуктивная работа по осмыслению и толкованию прошлого возможна лишь при наличии в социокультурном пространстве хотя бы относительно свободных от непосредственного вмешательства власти локусов; свобода является онтологической предпосылкой любого усилия приблизиться к истине прошлого.

Констатация этого обстоятельства, тем не менее, не является признанием сущностно произвольного характера интерпретации, волюнтаристская и эстетизирующая трактовка представляются здесь равно неправомерными, объективная рациональная составляющая интерпретации обычно вполне способна противостоять интенции превращения ее в «рабу страстей» [4].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Royce J.* The world and the individual // *Philosophy of J. Royce*. – Ind.: Hackett, 1982. – P. 193.
2. *Шпенглер О.* Закат Европы. В 2 т. – М., 1993. – Т. 1. – С. 258.
3. *Хайдеггер М.* Бытие и время / Пер. В. Бибихина. – М., 1997. – С. 253.
4. *Hume D.* A treatise on human nature / Ed.L. Selby-Bigge. – N. Y., 1978. – P. 415.

S U M M A R Y

The author has made an attempt to clarify the following aspects of the issues of historical interpretation deals with: global cultural context of the process of historical interpretation; political power and historiography; internal dynamics of this discipline, etc.

Поступила в редакцию 30.08.2004